



БОЛЬШАЯ ПРОЗА
ДИНЫ РУБИНОЙ

Дина
Рубина

НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ



МОСКВА
2022

Часть первая

...для любого сколько-нибудь тревожного человека родной город... — нечто очень неродное, место воспоминаний, печали, мелочности, стыда, соблазна, напрасной растраты сил.

Франц Кафка.

Письма к фройляйн Минце Э.

Я позабыла тот город, он заштрихован моей угрюмой памятью, как пейзаж — дождевыми каплями на стекле.

Не помню названия улиц. Впрочем, их все равно переименовали. И не люблю, никогда не любила глинобитных этих заборов, саманных переулков Старого города, ханского великолепия новых мраморных дворцов, имперского размаха проспектов. Моя юность проплутала этими переулками, просвистела этими проспектами и — сгинула.

Иногда во сне, оказавшись на смутно знакомом перекрестке и тоскливо догадываясь о местонахождении, я тщетно пытаюсь припомнить дорогу к рынку, где ждет меня спасение от позора.

Я не помню лиц соучеников, и когда на моем выступлении в Сан-Франциско или Ганновере ко мне подходит некто незнакомый и, улыбаясь слишком ровной, слишком белозубой улыбкой, говорит: «Вспомни-ка школу Успенского», — я не помню, не помню, не помню!

6 ...Тогда почему все чаще, возвращаясь из Хайфы или Ашкелона домой, поднимаясь в свой иерусалимский автобус и рассеянно вручая водителю мятую двадцатку, я глухо говорю:

— ...В Ташкент?..

1

Из долгой, с ветерком, гастролы мать нагрязнула неожиданно и, вызвав у соседей про измену отчима, пошла резать его кухонным ножом. Нанесла три глубокие раны — убивать так убивать! — и села в тюрьму на пять лет...

Вера в тот день как раз читала «Царя Эдипа». Распластанная книжка так и осталась валяться на кухонном столе дерматиновым хребтом вверх, словно силась подняться с карачек... Так что все оказалось по теме. Хотя убийства настоящего и не вышло. Дядя Миша, отчим, долго валялся по больницам, но окончательно не выправился,— подволакивал ногу, клонился влево, подпирая себя палкой. Кашлял в кулак...

«Догнива-а-ает», — говорила мать, убийца ока-
янная.

Сама же отсчитала весь срок до копейки, и, когда вернулась, Вере уже исполнилось двадцать.

Вот вам конспект событий...

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. Ведь любая судьба к посторонним людям — чем повернута? Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешься испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой высоковольтной жизни?

Вернулась она тихо: позвонила в дверь двумя неуверенными звонками и, когда Вера открыла, прослезилась и обмахнула щеки дочери такими же неуверенными поцелуями. И то и другое было ей несвойственно.

«Присмирела, что ли, на казенной баланде?» – подумала Вера.

Мать прошла отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус – холеный барин, эстет, платиновые бакенбарды – следовал за ней тревожной трусцой, морщась от ужасного запаха тюремной юдоли.

Мать опустила на табурет, медленно стянула с головы косынку (поседела, фурия, – отметила Вера) и мягко, со слезою в голосе, вздохнула:

– Ну вот, вернулась к тебе твоя мамочка...

Привалившись острым плечом к дверному косяку, Вера молча наблюдала за нею. Только после ее слов, вернее после этого красивого обнажения поседевшей головы, она поняла, что играется сцена «Возвращение мамочки», и мысленно усмехнулась. Мать между тем оглядела кухню уже другим, своим прихватывающим взглядом, поддала носком стоптанной босоножки обломок угольного карандаша на полу:

– Все малюешь... Я в твои годы горбила вовсю.

– А, здравствуй, мама! – словно узнав ее наконец, воскликнула дочь. И согнала с губ улыбку. – В мои годы ты вовсю спекулировала.

Та подняла на нее светлые рысьи глаза: видели верзилу? – стоит, жердь тощая, старая майка краской заляпана, взгляд угрюмый, насмешливый... Выросла. Самостоятельная!

Они глядели друг на друга и понимали, что жить им теперь, обеим, бешеным, в этой вот квартире. Нос к носу...

Я, пожалуй, встряну здесь ненадолго. Собою их не заслону, хотя я и автор, вернее — одно из второстепенных лиц на задах массовки. Я и в хоре пела всегда в альтях, во втором ряду. Вы помните, конечно, эти немолчные хоры на районных конкурсах школьных коллективов? Если нет, я напому.

Выстроились на сцене двумя длинными рядами. Одежда парадная: белый верх — черный низ, зажеванные уголки красных галстуков с утра тщательно отпарены плюющимся утюгом...

Второй ряд стоит на длинных скамьях из спортзала, не шевелясь и не дыша, потому что однажды, из-за подломившейся ножки скамьи, все дружно и косо, как домино из коробки, повалились на деревянный пол сцены.

Подравняться!!! Носки туфель чуть расставлены... Смотреть на палочку!!! Набрали в грудь побольше потной духоты зала, и!..

Вот хоровичка поднимает руки, словно готовясь долбануть локтями кого-то невидимого по обеим сторонам. Дирижерская палочка подрагивает и ждет. За роялем Клара Нухимовна: белое жабо крахмальной блузки, слезящийся нос, жировой горбик на шее... В черном зеркале поднятой крышки рояля подбитой голубкой трепещет отражение ее комканого кружевного платка.

И вот — бурный апрельский разлив вступления!

Взмах из затакта: повели медленно и раздумчиво...

Ветви оделись листвою весенней...
И птицы запели, и травы взошли,
Весною весь мир отмечает рождение...

звук нарастает, жилы на шее хоровички натягиваются...

И поехали с орехами:

Лееееееенин...

Это мы, альты и вторые сопрано, еще затаенно;
и вдруг – восторженный вскрик первых сопрано:

– Ленин!!!
Это весны...

Первые сопрано, заполошно перебивая:

– Это весны цветенье!!!
Ле-ееееенин...
Ленин!!!

Дружное ликование в терцию:

– Это побеееды клиииич!
– Славь-ся в века-а-ах...

Совместное бурлацкое вытягивание баржи:

– Лееееееенин!
Наш...

Вторые сопрано и альты, борясь за подлинную
истовость:

– Наш дорогой Ильич!!!

И пошел, пошел, ребятки, финал – наш вели-
кий исход, иступление, искупление, камлание,
сладострастие тотального мажора безумных ве-
сталок:

– Ле-ни-ну – слаааааааааааа-ва!!!
Пар-ти-и слаааааааааааа-ва!!!
Сла-ва в векааааааааааааааа-ах!!!

10 ...и вот теперь... подкрадываясь с пианиссимо, раскручивая птицу-тройку до самозабвенного восторга, по пути прихватив мощное сопрано нашей хоровички, налившейся свекольным соком, стремительно хлынувшим на лоб ее, щеки и монументальную грудь!!!

Слааааааааааааааааа-а-ва!!!

Обвал дыхания в беспамятство тишины.

Яростный гром аплодисментов под управлением жюри.

* * *

С неделю было тихо. Мать не трогала Веру, присматривалась. Правда, в первый же вечер в отсутствие дочери сгребла все холсты, подрамники, кисти и коробки с сангиной и мелом и свалила на пол в маленькой восьмиметровой комнате, где Вера обычно спала.

Большую же, пропахшую скипидаром, лаком и краской, — дочь считала ее мастерской и на этом основании превратила в свинарник, даже доски для подрамников в ней строгала, — мать отмыла, провертила, постирала и повесила на окна старые занавески, пять лет валявшиеся в углу на стуле (света ей, дылде, видите ли, не хватало!), и для порядку прибила на дверь небольшую такую задвижечку, не засов какой-нибудь амбарный, — все-таки с дочерью жить, не с чужим человеком.

Вера, увидев это, ничего не сказала: в самом деле, нужно же и матери где-то жить. Жаль было только постановку для натюрморта, мать разобрала ее. Окаменелые от давности гранаты выбросила, а медный, благородно темный кумган обтерла от пыли тряпкой, служившей в постановке вишневым фоном, и переставила на подоконник.

«Ах ты, корова старая, — подумала дочь беззлобно, — я неделю ждала, пока он пылью покроется, чтоб не слишком блестел...»

Вообще Вера была настроена миролюбиво, мрачно-миролюбиво. Вечерами сидела в своей комнате и часами рисовала автопортреты, поминутно вскидывая глаза на свое отражение в остром осколке когда-то большого и прекрасного зеркала. Иногда раздевалась до пояса (натурщицы были не по ее студенческому карману) и таким же сосредоточенно-цепким взглядом, словно чужую, вымеряла себя в зеркале: прямые плечи, робкую, как у подростка, грудь, втянутый живот...

В первые дни мать, все еще играя роль «вернувшейся мамочки», пробовала беседовать по душам, то есть совала нос не в свои дела, давала идиотские советы или принималась вдруг рассказывать душещипательные тюремные истории. Но нарвалась несколько раз на едкие замечания дочери и отступилась.

Дочь не пускала в свою странную, но, видимо, устоявшуюся жизнь. Ну и маячил между ними еще живым укором этот недобиток, который и получил свое, на что напрашивался...

У Веры как раз тогда заканчивался период длительного увлечения хатха-йогой; по утрам она уже не стояла на голове и не тратила полтора часа на позы с тех пор, как умножила эти полтора часа на семь (неделя), а потом на тридцать (месяц), и прикинула — сколько времени поглотило у нее бессмертное учение. Рассудив, что полтора месяца — довольно жирный кусок от ее, безусловно, смертной жизни, утренние занятия самосовершенствованием она прекратила, но все еще была убеждена, что, закрыв глаза и вызвав в воображении круг зеленого цвета, можно сосредоточиться и усилием воли погасить любые нежелательные эмоции — например, ярость при виде задвижки на двери, которую приколотила эта старая тюремная комедиантка.

С тех пор как мать вернулась, зеленый круг приходилось вызывать в воображении довольно часто, и у Веры появилось опасение, что вся ее жизнь теперь может пойти сплошными зелеными кругами: мать устроилась уборщицей в очередной стройтрест и понемногу набирала обороты: купила себе венгерские кроссовки, завилась и стала красить губы.

Вера насторожилась, как насторожился бы житель горной деревушки, заметив, что над давно погасшим вулканом вновь курится дымок.

И вправду, дней через пять, вечером мать ввалилась разгоряченная, деятельная. Распахнула пошире входную дверь: за нею, тяжело топая, поднимались по лестнице двое мужчин с ящиками на плечах.

— Рахимчик, сюда... Рахимчик, легче давай... — командовала мать. — Колюнь, ложь эту хреновину вот здесь... Осторожней, не побей!.. Та-а-ак...

Вера вышла из своей комнаты и молча смотрела на озабоченную беготню. Колюня и Рахимчик сбегали еще по два раза вниз, внесли шесть банок импортной краски...

— Рахимчик, ну что, — все там? Дай вам бог здоровья, ребятки, подмогли. Получайте! — Мать, как разгулявшийся купец в кабаке, с размаху вмяла в Колину ладонь трешку.

— Ка-ать... — с жалостливым укором протянул Коля, — натаскались же...

— Ка-а-люня! — Мать изумленно-ласково подняла брови. — А бог где? — и похлопала ладонью по молодой его, напористой груди. — Вот где бог-то! В нас-то он и есть...

Вера хмыкнула и даже вперед подалась, чтобы не прозевать Колюнину реакцию на божественный довод. С богом — это новенькая была хохма, может, в тюрьге у кого переняла. Но Коля, несмотря на молодой возраст и, вероятно, вполне атеистический взгляд на мир, смутился и как-то потускнел. Бедняга

просто не знал, что из матери невозможно вышибить лишней копейки, а то бы и вопроса такого нелепого не стал поднимать.

Когда парни ушли, Вера осмотрела ящики. В них была чешская кафельная плитка. Предположить, что мать решила отремонтировать квартиру, Вера никак не могла. Выходит, взялась за старое, коммерсантка чертова.

– По нарам соскучилась? – спросила ее Вера.

Мать оскорбилась не на слова дочери, а на тон – спокойный. Бесило ее это спокойствие.

– Заткнись, акварель чокнутая!

– Ну, сядешь...

Мать прищурилась азартно:

– Эт кто меня посадит, ты, что ль?

– Я!

Вера ответила так неожиданно для себя и вдруг поняла, что может посадить. Стоило бы, во всяком случае. Чтобы не одуреть от зеленых кругов перед мысленным взором.

Мать задохнулась от ярости:

– Ты?! Ты?! Ты меня посадишь, помазилка дра-ная?! – И присовокупила длинно. И еще присовокупила.

– Ну, эту поэзию мы слышали, – невозмутимо ответила Вера, повернулась и пошла к себе в комнату. Но не успела закрыть за собою дверь – мать подскочила и кулаком сильно ударила дочь по спине, между лопаток.

Вера в драку не кинулась, сдержала себя, хотя волна горячей крови долго еще гулким прибоем омывала сердце. И никаких кругов в воображении она вызывать не стала.

Отчеканила только с тихим, леденящим душу бешенством:

– Еще разок лапу на меня поднимешь – горько раскаешься...

И началось... Не жизнь, а война двух миров.

Сначала явился участковый — строгий белобрысый молодой человек немногим старше Веры. Проверил документы и предложил ознакомиться с заявлением. Вера без особого интереса пробежала глазами безграмотные строчки, написанные знакомой деятельной рукой, и расстроилась: мать вышла на военную тропу. В заявлении сообщалось, что гражданка Щеглова В. из 15-й квартиры, особа без определенных занятий, тунеядка склочного характера и аморального поведения, третирует весь дом постоянными дебошами, пьянством и сквернословием. Поэтому от всех жильцов большая просьба до работников милиции: будьте добреньки выселить гражданку Щеглову В. из квартиры, где она регулярно измывается над матерью с подорванным здоровьем. Подписана бумажка была: «группа соседей не откажуща подтвердить». Далее стоял энергичный и невнятный росчерк материнной подписи и приписка: «и зогатила всю квартиру».

Вера аккуратно сложила листок вдвое, вернула его белобрысому участковому и сказала:

— Заходи, компотом угощу, абрикосовым.

Участковый нахмурился и вошел. Вера налила ему в большую кружку компоту и отрезала кусок пирога с яйцом и луком. Ей слишком часто приходилось сидеть на диете, особенно в те месяцы, когда почти на всю зарплату закупала в художественном салоне материал — холст, бумагу, подрамники, лак... Так что, если вдруг заводилась свободная десятка и накатывало столь редкое у нее кулинарное вдохновение, Вера уж не жалела часа полтора потоптаться у плиты, чтобы затем в дивном одиночестве провести вечер наслаждений — за книгой, смакуя по кусочкам отбивную, зажаренную с луком и картофелем, отпивая медленными глотками кофе, сваренный ею по-

настоящему, как Стасик научил, — с пенкой, подошедшей дважды... 15

— Что ж вы с соседями не ладите? — строго спросил участковый.

Вероятно, строгостью хотел уравновесить либерально-попустительское питье компота у проверяемой гражданки.

— Соседи у меня хорошие, — ответила Вера. — А бумажку моя мать писала.

Парень сильно удивился — видать, недавно приступил к обязанностям участкового, а может, просто рос в приличной семье. Даже перестал жевать. Снял фуражку, вытер платком потную красную полосу на лбу:

— Ну, дела-а-а... Чего это она?

— Такой характер лютый, — объяснила Вера... — Да ты не расстраивайся! Давай я твой портрет нарисую? Вон у тебя какое лицо... надбровные дуги какие, мощно вылепленные...

Участковый смущенно потрогал свои надбровные дуги, которые расхвалила гражданка Щеглова В., отодвинул пустую кружку и сказал:

— Да нет, в другой раз. Спасибо.

Он осмотрел квартиру, зашел в Верину комнату, внимательно оглядел расставленные вдоль стен холсты на подрамниках, большие картонные папки, коробки с пастелью и сангиной... пяточок свободного места с мольбертом у окна и топчан, занимающий чуть не треть комнаты...

— Да-а-а... Тесно тебе здесь...

Помолчал и добавил:

— Говорят — искусство, искусство! Работники искусства... А я гляжу — не очень-то у тебя чистая работа...

— Ну, у тебя — тоже... — усмехнулась Вера.

Уже на пороге он сказал озабоченно:

— Хорошо, что я по соседям сперва не двинулся. Может, вызвать ее в оперпункт, прижучить маленько?